

Не читать

ПУШКИН как-то заметил, что поэзия должна быть глотательной.

По-этому как например, Фаддей Булгарин, мог принять это за чистую монету, видя в поэзии занятие легкомысленное, несolidное (не то что «Выклян», так — словесные побрякушки).

Но Пушкин имел в виду, конечно, совсем другое. Поэзия не должна быть назидательной, дидактической, расудительной, иначе она просто рифмованная проза. Поэзия должна быть простодушной. Поэт и сам себя называл простодушным до глупости. Но в одном смысле — что ум высокий можно скрыть в безумной шалости...

Он требовал от русской поэзии — «мыслей и мыслей». Особенно ценя за это Баратынского. Но порицал Рылеева: «Думы Рылеева целят, да все непагод». И провозглашал: «Цель поэзии — поэзия». И еще: «Цель поэзии не нравление, а идеал».

Но идеал-то и есть великая сила в воздействии на общество. Прекрасное само по себе содержит внутренне и Истинное, и Доброе, и Нравственное.

Давно замечено, что мышление образами — самая объемная, самая «экономная» форма человеческого мышления, где содержание спрессовано до взрывчатой силы. Приходит в действие словно «цепная реакция»: образ возбуждается от образа — феерверк ассоциаций. Мышление образами — это объемное мышление, и потому оно предельно лаконично.

Может быть, одна из самых чарующих, завораживающих, загадочных и столь влекущих нас к ней черт пушкинской поэзии — это ее необыкновенная, бывала до него смелость, смелость, насыщенность, спрессованность стиха.

Пораженная этим, Анна Ахматова пишет о «голосоружительном лаконизме» Пушкина, который «даже будто затемняет смысл и ведет к различным толкованиям». Никаких длинных, никаких «разжевываний», ничего лишнего. Отсюда — тайность стиха Пушкина, загадка, которая предоставляется так или иначе самому читателю. Гоголь сказал об этом по-своему — в каждом слове Пушкина «бездна пространства».

Сам Пушкин шел к этому сознательно, лирические его стихи еще довольно многословны, болтливы. Он поразительно быстро избавился от этого недостатка.

От многоречия отрезались добровольно. В собранье полно слов не вижу пользы я. Для счастья души поверьте мне, друзья, Иль слишком мало слов, иль одного довольно.

Черта эта особенно проявилась в лирике последних лет, некоторые стихи кажутся только набросками. А это завершённые шедевры.

Два чувства дивно близки нам, В них обретает сердце пищу: Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века По воле бога самого «Самостоянье человека, Залог величия его».

Тут и эстетическое настроение. И целая философская — или историческая? — концепция. И сколько возможно толкований! Можно диссертацию писать, да все равно однозначно мысль Пушкина не размотать, покрова загадочности, таинства не снять.

«А Маленькие трагедии»? Их тоже инные считали набросками, которые автор предполагал-де потом развить в длинные произведения.

«А Медный всадник»? Попробуй разберись в нем! И сколько написано об этом произведении, сколько толкований. И в самом деле, то ли это апофеоз Петра и его дитяти, то ли проклятие истукану на бронзовом коне, проклятие тиранству и деспотизму, то ли гимн маленькому человеку, посмевшему бросить вызов самодержавью? А не намерел ли это на восстание «безумцев» 14 декабря, которое ведь тоже бросило вызов на Сенатской площади — «Ужо тебе!»

Бедный Евгений, едва бросив свой вызов кумиру, в страхе от собственной дерзости бежит прочь. И что же горделивый всадник? Этого выкрика безумца оказалось достаточно, чтобы он потерял покой и бросился в потюгу за обидчиком. Евгений смертельно испуган, но ведь и всадник ранен этой угрозой не на шутку, если с сатанинским рвением преследует свою жертву. Не так ли испуган был и Николай после декабрьского восстания? Испуган на все свое долгое царствие. Не так ли же упорно и жестоко преследовал он свои жертвы?

У Евгения — мания преследования. У Всадника — медного символа самодержавия — мания преследования. И кто из них безудержнее?

За всем этим поэтическим изображением кроется и историческая концепция Пушкина как профессионального ученого-историка. А он был именно таковым. Историко Петра (как и историю Пугачева) он изучал документально, с основательностью самого дотошного профессора.

Обычно считается, что Пушкин «воспевал» Петра, романтизировал и возвеличил его образ, что он преклонялся перед ним. Да, но Пушкин был и первым режим обвинителем тирана Петра. Петр подлял Россию на лыбы, но и на дыбу. Он предстал в двойном освещении уже в «Полтаве» — «лик его ужасен... он прекрасен».

И афористическая запись: «Петр I — одновременно Робеспьер и Наполеон (воплощенная революция)». Робеспьер — это революция, чем она хочет стать, не отступая ни перед какими жертвами. Наполеон — это революция, во что она вылилась, воплотилась, переродилась.

Готовя «Историю Петра», он хотел показать противоречивость этой испанской фигуры. Один его указы писаны были для вечношты, другие, «кажется кнутом», вывалились у нетерпеливого, самовластного помещика.

Взгляд на Петра вытекает из более широких размышлений Пушкина об историческом ходе развития России в сравнении с европейскими народами.

Пушкин был прекрасно осведомлен не только о работах российских историков, но и о всех течениях западной историографии. Он имел возможность ознакомиться в петербургской библиотеке с такими работами Вольтера, которые были неизвестны и западным авторам. Внимательно изучал поэт предшественников «старой школы» историков — Юма, Робертсона, Гиббона, Сисмонди, Ломоносова. Одно время Пушкин разделял предрассудки этой школы, считавшей, что главное заключается в том, чтобы установить хорошие, «разумные» законы, которым были бы подвластны и «народы и царя», придумать справедливую конституцию, и тогда общество излечится от своих пороков.

Эти мечты о «хороших законах» и «хорошей конституции» были прямым следствием просветительского и утопического взгляда: выработать сначала разумную идею, а затем преобразовать общество в соответствии с ней. Им было и весь декабризм. Не изжиты они еще до конца и до сих пор!

«Новая школа» французских историков-романтиков — Вильмен, Тьерри, Гизо, Барант — ставила вопрос иначе: конституция, законоположения не причина, а следствие преобразования в обществе, в общественном мнении, они их закрепляют.

Представителей этой школы Пушкин сразу же заметил, осмысливал их произведения почти тотчас после появления в печати.

Пушкину, конечно, импонировала мысль Тьерри (отца идеи классовой борьбы, по выражению Маркса), что субъектом истории является сам народ, что та или иная выдающаяся личность должна быть понята в связи с исторической эпохой в которой она действует. Разделял он, конечно, и мнение Гизо о высшей

ценности общественного мнения, «мнения народного».

Но историк выступил против представления о фатальной неизбежности событий, одностороннего хода развития. История, по его убеждению, вовсе не исключает случайностей, она полна ими. «Общий ход событий, их основное направление можно и должно историком «угадать», вывести из него «глубокие предположения, часто оправданные временем», но «невозможно предвидеть случая мощного, человеческого орудия провидения». Если бы было иначе, то «историк был бы астроном, и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные».

Осмысливая общий ход событий, Пушкин размышляет над утверждением Гизо, что во Франции из века в век имел место прогресс в развитии просвещения и свободы: «сквозь темные, кровавые, мятежные и наконец расцветающие века». Но можно ли под эту формулу Гизо «подогнать» и Россию? Нет, отвечает

не сыграла никакой выдающейся роли во всемирной истории средних веков? Конечно, нет! Россия становилась татар в их продвижении на Запад... Так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было забыто от всяких помех.

Чаадаев развивал мысль, что религия не имела у нас той силы и влияния, которые она получила на Западе. Пушкин в черновике письма отвечает: «Религия чужда нашим мыслям и нашим привычкам. К счастью, но не следовало этого говорить». Для Чаадаева — это ужасно, для Пушкина — «к счастью».

Не только данной фразой, но и всем своим творчеством Пушкин отвергал излюбленную мысль Чаадаева, что религиозно-нравственная идея — источник прогресса в истории. Раз в России эта идея не возобладали, считал Чаадаев, значит, не было в России никакого великого исторического провала. Пушкин возражает: «Что касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согла-

голова», он пишет: «Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавлено неуловимым эгоизмом и страстью к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы... талант, из уважения к равенству принужденный к добровольному ostrакизму; богат, одевающий обрванного нафта, дабы на улице не оскорбил надменной кавальерии, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов...»

Здесь, в России, свобода личности подавляется самодержавием, там — на Западе — буржуазной демократией. А «самостоянье человека» — для Пушкина главное.

Зависеть от царя, зависеть от народа Не все ли нам равно? Бог с ними.

От мечтает об «иных правах», «иной свободе». Но какое общество может быть избавлено от «циничного презрения к человеческой мысли и достоинству»? Над этим Пушкин, несомненно, долго и мучительно размышлял. Вот свидетельство Адама Мицкевича о Пушкине конца 20-х годов: «Он любил рассуждать о высоких вопросах, религиозных и общественных, которые и не снились его соотечественникам. Очевидно, в нем происходил какой-то внутренний переворот, как человек, как художник он несомненно находился в процессе изменения своего прежнего облика, или вернее, обретения своего настоящего облика... Но к чему он готовился? Что творилось в его душе? Прониклась ли она в тишине тем духом, который вдохновлял творения Манцони или Пеллико? ...А может быть, его воображение было возбуждено идеями в духе Сен-Симона или Фурье? Не знаю. В его стихотворениях и в разговорах много было приметить следы обоих этих стремлений...»

Если не гадать, а опираться на прямые высказывания Пушкина, то особые надежды, размышляя над путями преобразования общества, он возлагал на «аристократию умов и талантов». Очевидно, — писал он в «Путешествии из Москвы в Петербург», — что аристократия самая мощная, самая опасная — есть аристократия людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Что значит аристократия народа и богатства в сравнении с аристократией пишущих талантов? Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда.

А далее и следуют великодушные строчки, выпященные в эпиграф: «Что же и составляет

Мысль! Великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Да будет же она свободна, как должен быть свободен человек...

А. С. ПУШКИН.



Генрих ВОЛКОВ:

# МУДРОСТЬ ПОЭТА

Пушкин. История России «требует другой мысли, другой формулы», как мысли и формулы, нежели выведенные Гизом из истории христианского Запада».

Что же имел в виду Пушкин? Разгадать это нетрудно. В самом деле: о каком прогрессе свободы в истории России можно говорить? Скорее, наоборот, о «прогрессе» в упорении самодержавия, абсолютизма, деспотизма, закабаления крестьян, уничтожения свободы. Это воле-неволей показал еще Карамзин.

Иван III покончил с многовековой волей-неволей торговых республик Новгорода и Пскова. Иван Грозный отменил Юрьев день. Василий Шуйский впервые объявил себя самодержавцем. Петр I — императором. По словам Пушкина, история представляет около Петра «всеобщее рабство», «все состояния, окованные без разбора, были вавон перед его дубинкою». «Все дрожало, все безомно повинувалось». Наконец, Екатерина I «раздарила около миллиона государственных крестьян (то есть свободных хлебопашцев) и зорепростила волюную малоросию и польские провинции».

Вот он, «прогресс» по-русийски! Гегель, как известно, считал, что цивилизация проходит в своем развитии ряд этапов: от общества, где один свободен, к обществу, где некоторые свободны, и, наконец, к обществу, где все свободны. В России, кажется, дело обстоит совсем наоборот.

Причины для этого «обратного» хода истории, видимо, много. Пушкин выдвигает парадоксальную формулу. Такого феодализма, как в Европе, «у нас не было и тем хуже». Во Франции феодализм не зависел от центральной власти, а «король, избираемые вначале владельцами, были самостоятельны в собственном своем участке». Общины имели привилегии. Отсюда сохранилась в народе «стниха независимости». В России этого не было, и тем хуже.

Пушкин явно пытается разобораться, почему во Франции восторжествовала революция, а в России продолжает торжествовать и все укрепляется самодержавие.

И, кажется, в полном разлад со всем этим ходом мысли Пушкин отступает в споре с Чаадаевым славное прошлое России, ее особое предназначение, высокую роль в развитии европейской цивилизации. Но такая «сшибка» ходов мысли и образов вообще характерна для Пушкина. «Не будем ли суверены, ни односторонники, как французские трагики, но взглянем на трагедию взглядом Шекспира», — говорил поэт по поводу декабристского восстания. Но, верно, отослал это ко всей российской истории.

В письме к Чаадаеву он уже с более широкой исторической перспективой смотрит и на обоих Иванов, и на Петра, и на Екатерину.

Спортон он и с религиозной аргументацией Чаадаева. В самом ли деле влился бедствием для России так называемая «схизма», т. е. разделение первы на католическую и православную? Да, она отделила Россию от остальной Европы. Но значит ли это, что она

силься». Дух времени, считает он, — источник нужд и требований государственных.

Тут столкнулись по существу две философии истории!

Но, развня свою контраргументацию, поэт полностью развлек чувства «боли и ужаса», которыми пронизано философское письмо старого друга: чувства страдания за униженное, рабское, жалкое положение народа, который призван был великим, чувства отвращения ко всем мерзостям русской общественной жизни, к давящему гнету царского деспотизма, унижающему личность. «Пспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равновесие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние».

Сказано по-пушкински предельно лаконично и по существу глубже и сильнее, чем у Чаадаева.

Письмо Пушкина Чаадаеву не было отправлено, но вскоре после гибели поэта адресат, несомненно, ознакомился с ним через Жуковского. Это видно по его «Апологии сумасшедшего». Чаадаев словно отвечает Пушкину, уточняет свои взгляды на прошлое и будущее России, признает правоту поэта.

О прошлом России он теперь говорит, что очень далеко от того, чтобы «вычеркнуть все наши воспоминания». О будущем, что Россия призвана быть «настоящим совестным судом по многим грехам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества». А Пушкин как-то писал: «Россия по своему положению географическому, политическому, есть судилище, приказ Европы. Мы великие судия (с фр.)». Беспристрастие и здравый смысл наших суждений касательно того, что делается в нас, удивительны...»

И самое любопытное: одна из причин, по которой Чаадаев стал более оптимистично смотреть на судьбу России, в том, что ведь это она, Россия, подарила миру Пушкина. «...Может быть», — роняет Чаадаев тоном извиняющегося, — превеличием было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышпили могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и «грациозный гений Пушкина».

Но зададимся вопросом: какой социальный идеал вынашивал Пушкин? Какому России он провидел в будущем? Буржуазное общество, образцами которого являлись Англия и Америка, он подверг резкой критике. «Аристократическая богатства» его явно не устраивала. Ему для этого хватало исторического чутья. Буржуазная демократия представляла перед ним «в ее отвратительном лице, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве». Говоря о Северо-Американских Штатах, от которых у многих русских интеллигентов «кружилась

величие человека, как не мысль?». Общество, где возможны «свободная мысль» и «свободный человек», — это есть идеал Пушкина.

Часто приводятся слова Николая I, сказанные им после беседы с Пушкиным в 1826 г.: «Я говорил сейчас с умнейшим человеком России». Сказаны они были, конечно, с известной иронией, но и удивительно: представьте себе, этот шелкопер не так уж и глуп.

Потом это происходило неоднократно с самыми разными людьми: все они удивлялись и поражались, обнаружив в поэте не легкого рифмолета и остролиста, а человека с умом недюжинным. Словно поэт не может быть умным человеком!

Приятели писателя И. И. Лажечникова, познакомившись в 1832 году с Пушкиным, писали: «С любовью смотрел я на эту небольшую, худенькую фигуру и не верил, как он мог быть забойкой... На лице Пушкина написано, что у него тайного ничего нет. Разговаривая же с ним, замечается, что у него есть тайна — его прелестный ум и знания. Ни блеском, ни жеманства в этом князе русских поэтов. Поведения с ним, только скажете: «Он умный человек. Такая скромность ему прилична».

Иван Киреевский, познакомившись с Пушкиным, записал: «В Пушкине я нашел больше, чем ожидал. Такому мозгу, кажется, не вмещает ни один русский череп, по крайней мере ни один из оцупанных мною».

Графиня А. С. Сиркув писала, что у Пушкина, «отличавшийся способностью угадывать все, что могло быть воспринято только с помощью интеллекта», поражае е так же, как и «этот поэтический облик, который бесозастенно придавала всякой вещи его восприницающая мысль».

П. А. Плетнев — А. Пушкину: «...Разговор с вами превосходит все, что я когда-либо видел. Вы уж не говорю о стихах, меня вобнает твой логика. Ни один немецкий профессор не удерит в лудовой диссертации столько порядка, не поместит столько мыслей и не докажет так ясно своего предложения. Между тем какая свобода в ходе! Увидим, раскует ли это наши классики?»

Ксенофонт Полевой, который не был в числе людей, особенно благоволивших Пушкину, высоко оценивал необыкновенный интелект поэта и говорил, что перед ним показались бы бледны «профессорские речи» весьма популярны в те времена во Франции историков и публицистов Вильмена и Гизо.

«Вообще», — продолжал К. А. Полевой, — Пушкин обладал необычайными умственными способностями. Уже во время славы своей он выучился, живя в деревне, латинскому языку, которого почти не знал, вышедши из Лицея. Потом, в Петербурге, изучил он английский язык в несколько месяцев так что мог читать поэтов. Французский знал он в совершенстве. «Только с немецким не могу я сладить», — сказал он однажды. — Выучусь ему и оная все забуду; это случилось уже не раз». Он страстно любил искусства и имел в них оригинальный

## «НАША ГЛАВНАЯ КНИГА»

Со времени первой иллюстрации в 1820 году к «Руслану и Людмиле» и пушкинским произведениям обращались 496 художников. Сколько разнообразных стилей, манер, толкований гений поэтов! Наиболее интересный вилд в Пушкинах:



Н. НАЗАРЕВСКИЙ.

взгляд. Тем особенно был занимателен и разговор его, что он обо всем судил умно, блестяще и чрезвычайно оригинально».

Давим, что, помимо французского, английского, немецкого и латинского языков, Пушкин в зрелые годы изучал также древнеиерусалимский и испанский языки, знал первоначально польский, читал по-польски.

Универсальность гения Пушкина проявилась не только в литературе, где он как уже говорилось, охватил все жанры и усвоил все приемы, разработанные европейской поэзией и прозой, но и в науках: истории, философии, эстетике, лингвистике, этнографии, политической экономии, в том, что он интересовался также достижениями в механике, геометрии...  
О Пушкине как профессиональном историке говорилось уже достаточно. Профессиональным философом его, конечно, не назовешь: собственным философским произведением у него нет. Вкус к абстрактным размышлениям он не имел, но разве его поэтическое мышление не окрашено определенным философско-эстетическим отношением к миру?

Он хорошо знал Гёте, Шлегеля, Вильгельма, был мною наслышан о системах Канта, Фихте и Шеллинга и, вполне возможно, Гегеля.

С эстетическими взглядами Шеллинга Пушкин познакомился еще на лицейской скамье: вспомним, что «добрый Галич» был пылким шеллингианцем и, конечно, горячо проповедовал его идеи лицейцам. О философских взглядах Шеллинга Пушкин мог составить себе представление из бесед с А. И. Тургеневым и П. Я. Чаадаевым, которые были лично знакомы с немецким мыслителем, и через «любомудров».

С. П. Шевырев в своих воспоминаниях свидетельствует о Пушкине: «В Москве объявил он свое живое сочувствие тогдашним молодым литераторам, в которых особенно привлекала его новая художественная теория Шеллинга, и под влиянием последней, проповедовавшей освобождение искусства, был написан стих «Черны».

Пушкин неоднократно и всегда одобрительно отзывался о «школе московских литераторов», которая «основалась под влиянием немецкой философии».

Поэт полагае, и, как оказалось потом, совершенно справедливо, что немецкая философия окажет на русскую интеллигенцию более благотворное влияние, чем французская.

«Мы не принадлежим к числу подобострастных поклонников нашего века», — писал поэт-мыслитель в 1836 году, — но должны признать, что науки сделали шаг вперед. Установления великих европейских мыслителей не были тщетны и для нас. Теория наук освободилась от эмпиризма, возымела вид более общий, оказалась более стремления к единству. Германская философия, особенно в Москве, нашла много молодых, пылких, добросовестных последователей, и хотя говорили они языком мало понятным для непосвященных, но тем не менее их влияние было благотворно и час от часу становится более ощутительно».

Этот вывод Пушкина очень скоро полностью подтвердился.

Глубокие познания в истории, философии, политической экономии позволяли Пушкину легко разбираться в событиях международной политической жизни. Видеть их смысл, их возможный ход развития.

Осведомленность поэта в международной политике поражаала современников. Адаму Мицкевичу при встречах и беседах с Пушкиным казалось, что тот только что прибыл с приений в европейских парламентах. «Когда говорил он (Пушкин — Г. В.) о политике внешней и отечественной, можно было думать, что слышишь человека, заматеревшего в государственных делах и пропитанного ежедневным чтением парламентарных прений».

А. О. Смирнова-Россет в шутку назвала поэта «министром иностранных дел на русском Парнасе».

И в самом деле, в суждениях Пушкина о политических событиях и политических деятелях своего времени виден человек большого государственного ума и, как ни странно, — трезвый и практичный политик. Перспектива самому влиять на государственные дела была для него одно время притягательной. Он, однако, быстро разочаровался в возможности влиять на политику Николая своими советами.

В его библиотеке хранилось два сочинения о теории вероятностей, в том числе книга Лапласа «Опыт философской теории вероятностей». Изучал он и французского физика Араго, интересовался «Парижским математическим ежегодником».

Академик М. П. Алексеев, приведя эти и другие факты, весьма обоснованно вывлекнул предположение, что поэту была известна дерзновенная теория неэвклидовой геометрии Н. И. Лобачевского.

В 1827 году Пушкин записал: «Вдохновение есть расположение души к живейшему приятию впечатлений и соображению понятий, следовательно и объяснению оных. Вдохновение нужно в поэзии, как и в поэзии».

И поэзия, и наука — важные отрасли умственной деятельности человека. Великая поэзия всегда включает в себя и великую мысль. И высокая смелость в поэзии — это смелость изобретения, создания, план обширный обременется творческой мыслью».

Если и геометрия, и поэзия требуют однородного духовного процесса, экстаза, влюбленности, если мысль и образ не противостоят друг другу, а друг друга оплодотворяют, то к такому же единству в перспективе должны стремиться наука и искусство. И потому «дружина ученых и писателей» — это именно одна дружина, конторая «всегда впереди во всех набегах просвещения на всех притестах образованности».

В первом же номере «Современника» Пушкин печатает статью П. Б. Колюсковского «Развод Парижского математического ежегодника на 1836 год». О том, какое большое значение придавал Пушкин этой статье, говорит тот факт, что, когда прошла цензура, он пишет П. А. Вяземскому: «Ура! наша взяла. Статья Колюсковского прошла благополучно: сейчас начинаю ее печатать». В третьем номере журнала по инициативе Пушкина вновь появляется статья Колюсковского на специальную тему — о теории вероятностей.

Накануне дуэли 26 января 1837 года Пушкин на балу у графини Разумовской просит Вяземского «написать к кн. Колюсковскому и напомнить ему об обещанной статье для «Современника» как в теории паровых машин».

Что же все-таки руководило Пушкиным, когда он, послав роковое письмо Гегкеру, среди всех страстей и треволнений, раздиравших его сердце в последние преддвузельные часы, забывает о том, чтобы в очередной книжке «Современника» непременно появилась статья по теории паровых машин?

Наверное, теперь в его размышлениях о судьбах родины единственной светлой надеждой оставалось упование на культурный, научный, технический прогресс, на успешные «набеги просвещения» и «присутью образованности».

Наверное, он хотел, чтобы его журнал был впереди в этих набегах и присутях, чтобы именно он обьединил «дружину ученых и писателей».

Пушкин знал, что задача эта нелегкая, что «присутью» и «набеги» просвещения встретят в николаевской России ответные атаки. И поэтому предупредил: «Не должно им (то есть друзьям ученых и писателей — Г. В.) малодушно негодовать на то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности».

Выстрел в Пушкина не заставил себя долго ждать.

Фрагмент иллюстрации Ю. Иванова к книге Г. Волкова «Мир Пушкина».